

ВОРОТА РАСКРЫТЫ НАСТЕЖЬ

Когда Синявские собрались за границу, Марья Васильевна уверяла нашего общего друга: загон открыли, пользуйтесь случаем! Оставшихся ждет бойня!

Тогда все помнили кинокадр - не помню названия фильма: открыты ворота загона, а стадо не выходит, жметя к забору...

Пример был выбран талантливо, но он меня не убедил. Риск был с двух сторон. Здесь могут просто стукнуть бутылкой по голове, как Костю Богатырева - кажется, за непринужденное общение с иностранцами. Я не прятался за псевдонимами, и пару раз уже вызывали в прокуратуру - вроде свидетелем по тому или другому делу, а допрашивали о написанном (или подписанном). Но к здешнему риску я привык. А в эмиграции был другой риск - потерять себя, потерять какой-то клубок незримых связей, толкавший писать эссе; да и зримые связи не хотелось рвать.

Меня били рублем - сорвали защиту диссертации, т.е. обрекли на зарплату младшего научного сотрудника без степени до греческих календ. Я это принял как плату за относительную свободу слова, которую разрешал себе в самиздате. Зинаиде Миркиной, писавшей свои стихи за моей не очень широкой спиной, я приносил в получку по несколько десятков карбованцев, и на эти деньги мы кормились. Возникали смешные инциденты в институте: неудобно, мол, печатать в реферативном журнале фамилию, мелькающую в запретной для советского человека зоне. Я предложил подписывать мои служебные рефераты другими фамилиями. Замдиректора подумал - и согласился. Идеинность давно выдохлась, надо было просто соблюдать приличия. И так окончательно оформилась моя модель поведения: укутан псевдонимом для советского читателя, открыто печатаясь для внешней и внутренней эмиграции. Я сам был своим цензором, примерно рассчитывая, за что сажают, и не напрашиваясь. В движении диссидентов скромно занимал место заднекамеечника.

Шли годы, и шло мое соревнование с советской властью, кто раньше развалится. Именно развалится, а не будет свергнута. Запомнилась фраза, брошенная Юрием Александровичем Левадой в 1968 году: колеса начнут на ходу отваливаться от автобусов. Народ оставался спокоен, и я на него не рассчитывал. Иллюзии появились потом, на волне недолгого общего энтузиазма по случаю брошенной нам сверху свободы. А в записной книжке начала семидесятых, брошенной на даче и недавно найденной, - трезвые оценки:

23. VI. 72. Когда Петр Григорьевич Григоренко начал борьбу за права человека, его поддержало два народа: крымских татар и немцев Поволжья. Татарам хотелось в Крым, немцам - не знаю куда... Остальным никуда не хотелось. Единственная форма народного движения, которая сегодня то тлеет, то вспыхивает, это столкновения русских с нерусскими, армян с азербайджанцами, узбеков с таджиками и т.п. Вплоть до споров эрзя лесных с эрзя луговыми. Во всем этом я могу участвовать только как санитар в сумасшедшем доме.

Ну что ж! В эпохи реакции и застоя есть свои возможности, которых нет во времена бурных страстей, выталкивающих в политические споры. Об этом тоже есть записи, целый ряд записей - почему я не хочу уезжать:

5. VIII. 70. Нет неплодотворных времен, есть неплодотворные люди. Распад Римской империи был очень плодотворным для Августина. Возможность открытого политического действия во Франции дала философии гораздо меньше, чем спертый воздух Германии около 1800 г. Если

бы события повернулись в духе чешской весны, было бы очень трудно сохранить тот уровень глубины, который сегодня - единственный, на котором можно дышать.

18.НІ. 71. Многие горячие сторонники внешних перемен кончают тем, что эмигрируют. Это как бы реализация метафоры, обнаружение внешнего пласта бытия, в котором они жили. Гораздо глубже внутренняя свобода.

Я впрочем сознавал, что «внешнее» может и за горло схватить, так что не отвертись. Запись:

2.VII.71 ...У меня есть жабры, я как-то дышу в омуте. Но события выталкивают и могут вытолкнуть. И потому от сумы (на этот раз дорожной) и от тюрьмы не зарекайся.

И еще одна запись:

16.VH.72. ...Оставаться больно и уезжать больно. Что бы ни делать - больно и будет еще больнее. От этого не уйдешь, как от возраста. И остается вспомнить Блайса: дзэн не про то, как выигрывать, а что все равно, выигрывать или проигрывать.

Продолжаю сегодня: ни отъезд, ни отказ от него не могут быть рецептом, годным для каждого. Оставаться - риск; уезжать - тоже риск. Одна из опасностей эмиграции - потеря части вдохновения, незаметно связанного со страной. Об этом замечательно написал один из уехавших, убежденный сторонник эмиграции, Борис Хазанов: «Пожалуй, я кое-чему научился: элементам ремесла, технике; научился отличать плохую фразу от хорошей. Но все отчетливей я сознаю, что делаю не то, что надо. Чем «лучше» я пишу, тем получается хуже» .

Я держусь в стороне от литературной жизни, однако слежу за ней. Даже кое-что читаю. Большая часть прозы, которая появляется в последнее время, вызывает у меня скуку или отвращение. Я хорошо вижу, что за редкими исключениями коллеги, отечественные беллетристы, даже даровитые, - непрофессиональны, неумелы, глухи к языку, подвержены влияниям, от которых завтра не останется следа, поработаны сиюминутной актуальностью, наконец, малокультурны, плохо знакомы с современной европейской прозой и удручающе провинциальны. И я, словно стареющая кокетка, воображаю, что могу без труда перещеголять молоденьких провинциалок своими туалетами. Я ловлю себя на тщеславном желании противопоставить этим писателям настоящую литературу. Что же я могу им противопоставить? Хороший стиль, благозвучный язык, вкус, сдержанность, иронию, дисциплину.

Но все это - не то, что требуется от литературы. Я прекрасно вижу обратную сторону этих аристократических претензий: безжизненность, академизм. Мой язык, заметил кто-то из критиков, это язык классических переводов, причем с мертвых языков. Однажды я написал рассказ из эпохи Древнего Рима, действие происходит в первом веке до нашей эры. Меценат приезжает в гости к Горацию. Они беседуют о литературе, с террасы открывается чудный вид, и вот выясняется, что поэт глубоко удручен: его стихи слишком совершенны. В них нет живой жизни, страсти, полета, они холодны и гладки, как мрамор. Он чувствует, что в своем классицизме, своем отчуждении от собственной личности потерял себя. Это автобиографический рассказ («Сад отражений» . «Вторая навигация» , Запорожье, 2003, с.267).

Я продолжаю читать Бориса Хазанова, иногда с интересом. Но ни одна вещь, написанная в Мюнхене, не брала меня за горло так, как «Час короля» , «Запах звезд» , «Взгляни в глаза мои суровые» . Только возвращение к памяти детства, начатое еще в Москве («Я воскресение и жизнь») сохраняло свою теплоту. «Сад отражений» действительно автобиографичен, и не только для одного автора. Разумеется, не для всех. В эмиграции Бунин написал «Арсеньева» , Цветаева - «После России» , «Крысолов» , «Гору» ...

Даже судьбы двух людей, тесно связанных друг с другом - Андрея Донатовича и Марьи Васильевны - не одинаковы. Марья Васильевна в Париже развернулась, издавала превосходный журнал «Синтаксис». Это кстати и мне пригодилось, я там печатался. Так же как в другом журнале, созданном эмигрантами третьей волны - Кронидом Любарским и Борисом Хазановым, - «Страна и мир». Но Андрей Донатович... Самый бунт его против советских штампов был слишком окрашен этими штампами, вывернутыми наизнанку.

Старая эмиграция не могла понять, что Пушкин и Гоголь, внесенные ею в святцы, в Москве стали кариатидами, поддерживающими правительственный балкон, и стрелы, направленные против пушкинской тени, включенной в Политбюро, принимались как кощунство.

Впоследствии Синявский говорил, что первые годы в Париже были для него труднее, чем первые годы в лагере. Потом он отдышался, написал «Спокойной ночи» ... и все-таки лучшие вещи свои он написал в России. И не просто в России, а в мордовских лагерях, оставаясь писателем вопреки всему, на волне внутреннего сопротивления приговору, и выйдя на волю, только смонтировал куски писем жене в две книги: «Голос из хора» и «Прогулки с Пушкиным». И книга о Гоголе начата была в лагере. О «Прогулках» можно спорить. Святые интеллигенции в них трактуются так же, как святые церкви - в «Гаврииаде» (и мягче, чем Чернышевским в «Даре» Набокова). Но «Голос из хора» - одна из самых глубоких книг, написанных в России и о России. Я трижды перечитывал «Голос», пока дочитал, как говорится, до дна и кажется понял характеристику России как страны Святого Духа, как вызов к творчеству - и каторгу для творцов.

Кто из русских писателей не проклинал своей судьбы! Даже Пушкин: «Чорт догадал меня родиться в этой стране с умом и талантом!» Тою же рукой, которой писал:

Красуйся, град Петров, и стой
Неколебимо, как Россия!

Россия очень многое пишет нашими руками. Состоялся бы Достоевский без театральной казни на Семеновском плацу?

В России, прячась от обысков, написаны все лучшие вещи Солженицына. С ними иногда хочется спорить, но кто их не прочел (по крайней мере, в моем поколении)? А в Вермонте, в условиях, лучше которых придумать трудно, - «Красное колесо» ... Кто его читал? Кто его будет читать?

Последний пример - творчество Андрея Тарковского. Я смотрел оба его зарубежных фильма, «Ностальгию», проверяя себя - дважды. Но гораздо больше захватывали меня «Солярис», «Сталкер», «Зеркало». Их можно смотреть по несколько раз, как читать «Голос из хора».

Я не упомянул о возможности полностью перенастроиться на западные волны, сменить самый язык, как это сделал Набоков, а наполовину сделал Бродский. Об эмиграции можно сказать то, что Константин Леонтьев сказал о человеческой жизни вообще: «Всем лучше никогда не будет. Одним будет лучше, другим хуже. Это единственная возможная на земле гармония». Это из брошюры «Наши новые христиане. Достоевский и граф Лев Николаевич Толстой». Помню наизусть с 1939 года. В анекдоте о том же - короче:

-Рабинович, почему вы не едете?

-Мне и здесь плохо.

Маразм у нас иногда так крепчал, что от него не отшутиться. В начале 80-х вонь нравственного распада меня достала. Я не вынес покаяния о Дмитрия Дудко по телевидению и его многословных попыток оправдать свой поступок. «Акафист пошлости» заканчивался прямым обвинением КГБ в развращении народа (каждый телепоказ говорил, что стойкости нет, что чести нет, что любого человека можно превратить в дерьмо). С моего разрешения текст был опубликован в «Синтаксисе». Я рассчитывал на то, что «предупредят», т.е. не сразу посадят, а вызовут на Большую Лубянку и поиграют на нервах, а потом - распишись, что тебя предупредили об ответственности по статье 190 ч.1. Расчет оказался правильным - для здорового человека. Но я был болен. Мои разговоры по телефону прослушивались, и вызвали меня в состоянии затяжного, тяжелого гипертонического криза...

На Лубянке я выполнил заранее намеченную программу: мол, от прямых политических выступлений я отказываюсь (я их и раньше почти никогда не делал), а печатанье за границей книг и статей по литературе и философии буду

продолжать и публикации в журналах «Синтаксис» и «Страна и мир» санкционирую. Дома, задним числом, с подначки друзей и родных, критиковавших мое поведение, меня охватил страх, началось что-то, напоминающее галлюцинации. Дело было плохо. Но я знал, что опасность и страх - разные вещи, у меня уже был опыт выхода из страха на фронте, надо было найти только конкретную форму медитации, я взял ее у Кастанеды и стал повторять, не переставая, заклинание: «господи, останови мои мысли». Меня подхлестывал стресс, и я может быть впервые выполнил правило афонских старцев - держать свой ум в словах молитвы. Через полчаса почувствовал, что откуда-то в мое опустевшее сознание вливается сила, через час прекратил заклинание, совершенно обновленный.

Какой-то человек в Андах, спасаясь от зверя, сиганул через пропасть. Так и я перескочил через страх. На следующий день сел за стол, писать очередную главу «Записок гадкого утенка», главу «Через страх». Недавно, в Иерусалиме, я делился этим опытом со своими старыми читательницами. Опасность, отделенная от страха, только возбуждает. В другой стране, в другое время я бы «Записок гадкого утенка» не написал. И все мои лучшие книги написаны в боевые будни внутреннего эмигранта. Сейчас я их только дополняю и издаю.

Закончу еще одной выпиской из записной книжки:

24.IV. 72. Отношение русской иконописи XV в. или русской литературы XIX в. к русской истории примерно такое же, как у Библии к истории евреев. История не очень хорошая, гораздо поучительнее история греков и римлян, англичан и французов. Но неудавшаяся цивилизация, неумение устроиться на земле дают иногда огромный духовный отклик...

Мне кажется, что эти заметки тридцатилетней давности не совсем устарели.